

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Родительская кровь

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М22

Мамин-Сибиряк Д.Н.
М22 Родительская кровь / Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2012. – 36 с.

ISBN 978-5-4241-2879-0

Впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1885, JSfe 5. При жизни автора перепечатывался в составе «Уральских рассказов». Рукопись хранится в Свердловском областном архиве. В конце рукописи рукою Мамина-Сибиряка сделана надпись: «12 декабря 84 г. Екатеринбург». Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», издание четвертое, М., 1905, т. III., Автор предполагал напечатать очерк в «Русской мысли», но редакция отклонила его, мотивируя отказ тем, что он якобы не соответствовал профилю журнала., При подготовке к третьему изданию «Уральских рассказов» автор внес в текст изменения и сокращения.

ISBN 978-5-4241-2879-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

I

Лес, лес и лес... Настоящий дремучий сибирский лес, сохранившийся в этой местности каким-то чудом, потому что кругом, на сотни верст, все настоящие леса давным-давно сведены и выжжены заводчиками. Этот лес известен под именем «середовины», потому что лежит на границе казенной дачи и дачи Пластунских заводов; по мнению главного пластунского лесничего, он принадлежит Пластунским заводам, а по мнению казенных лесничих, — казне. Это спорное положение спасло «середовину» от конечного истребления, но в недалеком будущем ее постигнет общая участь всех уральских лесов — она будет, конечно, истреблена до последнего дерева, как умеют истреблять леса только на Урале.

Одним краем «середовина» упирается в широкое торфяное болото, а другим прилегает к каменистой грядке невысоких увалов; болото уходит далеко на север, где в синеватой мгле встают уже настоящие горы. Если смотреть на окрестности с вершины одной из этих гор, картина представляется довольно оригинальная, особенно рано утром, когда болото покрыто еще туманом; болото разлеглось неправильным разливом на десятки верст, на нем отдельные горки и увалы выдаются, как острова или гигантские бородавки, а «середовина» кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть заметно всхолмленной поверхности. В Среднем Урале таких картин слишком много, и с каждым шагом на север эти болотины разрастаются все шире и шире.

Лес в «середовине» сосновый, дерево к дереву, как восковые свечи, и только по опушке образовался смешанный подсед из березняков, рябины и черемухи, который на болоте переходит в настоящий болотный «карандашник», то есть в чахлые и корявые березки, в кривые тонкие сосенки-карлицы, тальник, ивняк, и кусты смородины. Этот карандашник точно заражен золотухой или английской болезнью, но сосны-карлицы имеют по сту лет и более. Тяжело смотреть на такое дерево-урод: ствол непропорционально тонок, узловат, во многих местах согнут и покрыт совсем особенной мертвой корой, есть даже гнилые язвы, из которых сочится мокрота; рядом с этим золотушным, чахлым лесом середовинский бор является какой-то лесной гвардией, где каждое дерево — богатырь...

Здесь необходимо заметить, что «середовина» служила гранью между северным дремучим лесом и лесными породами средней полосы: там, где высились синие горы, залегли беспросветные ельники, пихтарники и кедровники, там тянутся к небу своими распростертыми коряжистыми ветвями едва опушенные бледной зеленью лиственни, а к югу пошли веселые светлые бора, березняки, липовые острова. На севере сосна является исключением, как ель на юге, да и северная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно с коренастыми гвардейцами той же «середовины». В настоящем северном лесу-таежнике чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась в темно-зеленый траур; не то в «середовине», где было так светло и просторно, как под высокими стрельчатыми сводами какого-то гигантского храма. Всякая дичь любила держаться около этой «середовины»: по опушкам кормились табуны поляшей (кочахи), рябчики, вальдшнепы, в глубине — глухарь, в болоте — дупеля и т. д. Одним краем через «середовину» протекала река Пластунья, очень болотистая

и иловатая в верхотинах, но делавшаяся чище в низовьях, точно она проходила через какой-то невидимый фильтр, в котором оставляла ил, тину и крутившуюся в ее струях желтоватую муть.

Около этой «середины» была отличная охота: весной по опушкам тянули вальдшнепы, на лесных прогалинках токовали косачи; в перелет Пластунья покрывалась утками и гусями, — летом здесь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой пороше, били косачей с подъезда и на чучело. Прибавьте к этому зайцев и волков, которые перебивались около «середины», а по весеннему «насту» здесь была отличная охота на диких коз и даже оленей, хотя олень редко заходил в «середину», потому что кругом было уже слишком голо. Ввиду такого разнообразия дичи охотников всегда тянуло в «середину», которая во всем своем составе на двадцативерстном расстоянии находилась под наблюдением всего одного сторожа, известного у охотников под названием Прохорыча, или попросту — «Секрета». Кто дал Прохорычу это название: Секрет — неизвестно, но оно как нельзя лучше шло к нему: Секрет так секрет и есть. Самая физиономия Прохорыча изобличала его «секретное» происхождение: широкое русское лицо, узенькие голубые глазки, глядевшие как-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая борода, сдвинутые заботливо брови, особенно когда Прохорыч начинал закручивать длинный тараканий ус. Говорил он отрывисто, какими-то обрывками фраз, и любил выражаться иносказательно и даже своим особенным высоким слогом, потому что сильно понаметался около господ. Костюм Секрета составлялся очень замысловатым образом из разного тряпья, хотя он и держался в нем с большим гонором, потому что чувствовал себя записным охотником, а записные охотники всегда щеголяют в сборных костюмах — это своего рода мода и щегольство.

Сторожка Секрета приткнулась к самому бору и была заслонена со стороны болота редким березняком, так что незнакомый человек по самым точным указаниям, когда приходится поворачивать десять раз направо и столько же налево, едва ли отыскал бы замысловатое жилище Секрета, особенно летом, когда оно совсем пряталось в зелени.

— Как-то я сам плутал-плутал по лесу-то, а своей избушки не нашел, — объяснял Прохорыч знакомым охотникам, молодежато закручивая усы. — Конечно, маненько в разу был... от знакомого барина ехал... славный такой барин в городе у меня есть. Ну, поднес мне стаканчик, да три стаканчика на свои выпил, в глазах-то и задвоило... Почитай, целную ночь по середине ездил да в лесу и заснул, а избушки не доехал, будет — не будет, сажан двести.

Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая в землю лачуга, сильно покосившаяся на один бок; вместо крыши была насыпана толстым слоем земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца из сухарника была пригорожена «стая» для скотины и небольшой пригон. Внутренность сторожки заключалась всего в одной комнате — направо небольшая русская печь, налево в углу стол, сейчас от двери около стены деревянная кровать, две скамьи, колченогий стул — и только. На стене над кроватью висело два ружья, около печки полочка с посудой, под кроватью разбитый сундук с движимым, на покосившемся окне вечный горшок с красным перцем — дальше этого желания Прохорыча не шли, потому что Прохорыч в душе был немножко философ и, как все философы, жил по преимуществу духом. В этой избушке Прохорыч проживал

со своей женой Власьевной и с двумя белоголовыми ребятами и, кроме того, ухитрялся держать еще квартирантов — то каких-то каменотесов, то приисковых старателей, то гуртовщиков; кроме того, у него останавливались всегда охотники, особенно летом, когда кругом «середовины» было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лет тридцати пяти, была как раз ему под пару и постоянно ходила с каким-то испуганным лицом.

— А вы вот что мне скажите, барин, — приставал Секрет к каждому новому знакомому, — чем я теперь живу в лесу?..

— Как чем: ведь ты жалованье получаешь, как лесник...

— Я? Жалованье?.. Мое жалованье вот какое: приду к казенному лесничему за месячным, а он мне: «Ты проси у пластунского управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя», ну, я в Пластунский завод, там немец Бац управителем, ну, он гонит за жалованьем к казенному лесничему, потому, говорит, середовина казенная... Уж ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься. А бывает и так, что два жалованья получишь... Ей-богу!..

В качестве записного охотника Секрет врал любую половину, но его средства действительно были сомнительны, и он больше кормился от приезжавших охотников.

— Кабы не господа — пропадай! — заявлял Секрет сам. — От господ только и питаешься, особливо к Ильину дню, когда из Пластунского завода, из Боровков и из прочих местов народ страдовать начинает. Баб тогда по покосам множество, а господам это даже весьма любопытно бывает... Боровские-то кержанки вон какие, Христос с емя: точно ямистая репа, ну и гулеванки тоже, когда мужиков близко нет. Что этого вина в те поры с господами выпьешь — страсть!.. Ну, зимой, обыкновенно, тишина, а к лету опять и оттаешь... С ранней весны кружить-то начинаем, только тут смотри: одних господ не успел проводить — другие катят, да так кругом и идет. Народ все прахтикованный, сейчас к каждому применяешься: кому и что — один насчет водки, другой за бабами, третий куликов стреляет, а есть и такие, что едут просто сами себя удивлять... Ей-богу, такие фокусы строят — кто что придумает!..

Господа, приезжавшие на охоту в «середовину» из города и с заводов, для Секрета служили неистощимым источником для самых пикантных рассказов, причем одним из главных действующих лиц являлась всегда водка.

— Лучшие самые господа приезжают, — объяснял Секрет при каждом удобном случае. — Пьешь, пьешь, даже совестно в другой раз сделается... а нельзя, потому я должен уважить.

Одним словом, в качестве «прахтикова иного» мужика Секрет умел «утрафить» всем и благодаря такой изворотливости ухитрялся существовать почти безбедно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: он горой стоял за свою «середовину» и постоянно сражался с лесоворами, которые делали набеги на его участок. Лесоворный промысел на Урале распространен как нигде и обратился в настоящую профессию, потому что отвода лесных наделов населению еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то «занимается по лесоворной части», как другие занимаются по части приисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно заметить, что эта «лесоворная часть» организована отлично, на разбойничий манер, так что с лесоворами происходят у лесной стражи настоящие сражения. Секрет лез на стену при одном

имени лесоворов.

— Варнаки и душегубы все до единого, — кричал Секрет, начиная показывать полученные в разное время рубцы и членовредительства. — Во как по поясице изуважили в позапрошлом году, — пять ден вылежал... А то по глазу хлобыснули в том году, так думал: смерть моя, а уж что было по затылку кладено — и счет потерял.

— Да ведь и ты им не пирогами откладываешь?

— Обнакновенно, разговор короткий; я их, варнаков, вашескорodie, сухим горохом стреляю... На, носи — не потеряй, голубчик!.. И только расшелма и народец: один беспальный ездит, а другой — с одной левой рукой. Такие кряжи заворачивают — страсть, вершков двенадцати. Что же, должен я на них смотреть, вашескорodie, сложа руки?.. Сколь мога и я их веселю... Больно уж зимой одолевают: цельную ночь сторожишься другой раз. Не однова меня спалить начисто хотели, да пока бог хранит, что дальше. Боятся они меня, потому как я вполне отчаянный человек насчет лесу... Бож-же сохрани!

Иногда на Секрета от этих воспоминаний нападало тяжелое раздумье, и он с неподдельной грустью прибавлял:

— А несдобровать, барин, середовине-то... ох, несдобровать!..

— Почему так?

— Да уж так: сердце чувствует... Пятнадцать годов я здесь выжил, а теперь сумлеваюсь. Как-то Бац говорит мне: «Ну, Секрет, пиши духовную своей середовине, скоро мы ее за себя переведем, и сейчас только одни угольки останутся». Точно он меня ножом полыхнул... И переведут, беспременно переведут, потому кругом голо — один карандашник, ну, на середовину теперь зубы и точат. Ноне ведь в Пластунском заводе сплошной немец пошел... Уйму леса извели проклятущие, точно они его жрут, потому известно — чужое, разе жаль его: повертится немец-то год — два, сведет лес, да и хвост убрал. Нет, видно, шабаш середовине...

Однажды в конце июля я сильно опоздал на охоте, до города было далеко, и я отправился переночевать к Секрету. В лесу уже было совсем темно, когда я подходил к сторожке со стороны «середовины». Секрета не оказалось налицо, а Власьевна даже не повернула головы в мою сторону и только сердито ткнула рукой по направлению горевшего огонька, разложенного под березками, саженях в двадцати от сторожки.

— Мне бы самовар, — попросил я, но Власьевна и на этот раз точно так же не удостоила ответом, а только махнула рукой в прежнем направлении.

Эта немая сцена в переводе обозначала то, что самовар под березками и что Секрет прохлаждается там с какими-то хорошими господами. Оставалось идти под березки — очень веселое и тенистое место днем, — господа весьма «уважали» эти березки. Ночевать летом в избушке Секрета нечего было и думать, потому что там вечно стояла какая-то отчаянная кислая духота, и охотники обыкновенно располагались под открытым небом у огонька.

— В самый раз, вашескорodie... прреотлично! — встретил меня Секрет, топлоливо вскакивая с земли. — А мы тут с Евстратом Семеновичем чаишко швыркаем и насчет мухи...

Прямо на траве стоял кипевший самовар, тут же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнительная снедь в измятой газетной бумаге; огонек едва дымил, отгоняя зудевших в воздухе комаров, а около него, растянувшись на

траве, лежал громадного роста «мушина», как говорят горничные. По длиннополому спортуку, красной рубахе навывпуск и подстриженным в скобку волосам лежавшего «мушину» нельзя было отнести в разряд настоящих господ, а скорее это был какой-нибудь гуртовщик или прасол. Прислоненное к дереву дешевенькое тульское ружье и развешанные на сучьях какие-то лядушки доказывали несомненную принадлежность «мушины» к лику охотников.

— Они по торговой части, из Пластунского завода, — лебезил Секрет, закручивая усы. — Может, слышали: Важенин, Евстрат Семеныч?.. Бакалейное и колониальное заведение и галантереи...

— Не ври ты, ради Христа, — отозвался лениво Важенин, не поворачивая головы в мою сторону. — Полфунта чаю да голова сахару — вот и вся наша колониальная торговля...

Важенин тихо засмеялся пьяным самодовольным смехом и сел. Это был видный черноволосый мужчина под сорок; свежее румяное лицо, окладистая черная, как смоль, борода, белые зубы и певучий грудной тенорок делали его моложе своих лет, и он смотрел настоящим молодцом. Серые глаза, опущенные длинными загнутыми ресницами, заметно слипались, потому что Важенин был «в разгу» и сильно раскачивался на месте. Это лицо и особенно ленивая улыбка показались мне знакомы, но я не мог припомнить в числе моих знакомых фамилию Важенин.

— Побаловаться чайком, — приглашал Важенин, улыбаясь блаженной улыбкой захмелевшего человека. — А мы вот тут того маненько... разгрызли полштофчик.

Пока Секрет рассказывал, как они «дрыгнули» после чая, я успел освободиться от разной охотничьей сбруи и с удовольствием растянулся на траве; около меня улегся мой Бекас, коричневый пойнтер, уставший, кажется, больше меня. Положив свою лобастую умную голову мне на сапог, собака, прищуриив желтые глаза, внимательно смотрела на суетившегося около самовара Секрета и с видимым удовольствием нюхала воздух.

— Это ваша собачка? — спрашивал Важенин, когда я уже допивал второй стакан. — Ничего, форменный песик... А вот я, грешный человек, не люблю собак. Вы чему это смеетесь?

— Да так... Извините, нескромный вопрос: вы из старообрядцев?

— Около того... по родителям-то совсем кержак, а само по себе, пожалуй, и православный. А вы почему подумали обо мне, что я из старообрядцев?

— Потому что все старообрядцы не любят собак...

— Верно, есть такой грех. А знаете, почему не любят-то?

— Нет.

— А потому не любят, что бес являлся многим угодникам в образе пса... Это и в книгах написано.

Мы разговорились, и я окончательно убедился, что где-то встречал этого Важенина, но где — не мог припомнить никак.

— Вы меня не узнаете? — спросил я, наконец. — Я где-то вас встречал, а не помню, где...

Я назвал свою фамилию. Важенин внимательно посмотрел на меня и с улыбкой проговорил:

— Даже, можно сказать, весьма вас помню... Этому уж лет шесть будет, как

вы у меня даже в гостях были в Пластунском заводе. Запомнили? Да и то сказать, что вам и помнить-то трудно этот самый случай, потому как вас ко мне привезли в лежку....

— А, теперь вспомнил, — обрадовался я и тоже засмеялся.

Моя встреча с Важениным была действительно довольно оригинальна. Поздней осенью я был на охоте в горах около Пластунского завода и схватил сильнейшую простуду, кончившуюся плевритом; больного меня отправили на место жительства, и я в первый раз пришел в себя в каком-то совершенно незнакомом доме. Как теперь вижу маленькую комнату с крашеными лавками, я лежал на кровати, а против меня у русской печки сидел вот этот самый Важенин и внимательно смотрел на меня. Помню, что мне ужасно было тяжело — томила жажда, кружилась голова и перед глазами ходили какие-то круги, но одна фраза, сказанная Важениным с какой-то детской наивностью, заставила меня рассмеяться. Смотрел, смотрел он на меня, встряхнул намасленными волосами и каким-то необыкновенно добродушным тоном проговорил:

— А ведь вы, господин, помрете... ей-богу, помрете!..

Я напомнил этот эпизод Важенину, и мы посмеялись вместе.

— А плохо ваше место тогда, — говорил он, наливая себе и мне по стаканчику. — Конечно, в животе и смерти один господь волен, а вот и встретились... Может, еще и меня переживете, — прибавил Важенин и грузно вздохнул своей могучей мужицкой грудью. — Мы так думаем по своему разуму, а господь строит другое... Пожалуйте!..

В конце июля летние ночи на Урале бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом тоне; воздух тих и чутко ловит малейший звук; спит в тумане лес; не шелохнувшись, стоит вода; даже ночные птицы, и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно, как тени на экране волшебного фонаря. Чтото такое торжественное и великое чувствуется в такой ночи, которая проходит над спящей землей неслышными шагами, как таинственная сказочная красавица, чарующая все кругом уже одним своим присутствием. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча под березками. Несмотря на усталость после охоты, спать совсем не хотелось, да и нужно было потерять всякую совесть, чтобы проспать такую ночь, как спал, например, Бекас, свернувшись кренделем около огонька. «Середовина» превратилась в темную сплошную глыбу, затаившую в себе все звуки; по болоту ползал волокнистый туман, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шепот, заставлявший собаку вздрагивать.

Секрет подбрасывал в огонь щепочек, закручивал усы и облизывался, поглядывая на бутылку с водкой.

— Так ты, Евстрат Семеныч, значит, приходишь¹ на свовото родителя? — спрашивал Секрет, очевидно продолжая разговор, который они вели до меня.

— Приходить не прихожу, а к слову сказать, — уклончиво ответил Важенин, перевертываясь на другой бок. — Рассуди, голова с мозгом: кабы ежели тогда покойный родитель определил меня к Михряшеву, да ведь я бы теперь деньгам счету не знал, а тут изволь по копеечке да по грошику сколачивать... Михряшево тогда по заводам страсть гремел — первый человек был, потому деньжищ

уйма и везде кабаки и лавки с панским товаром. Приказчиков одних у него двадцать человек было, а он меня еще у Ивана Антоныча видал... Я тогда в казачках при Иване Антоныче состоял, и все, бывало, в передней торчишь, ну, Михряшев бывал у нас и заметил. Денег даже давал, когда под пьяную руку придет. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежние заводские приказчики жили не по-нонешнему: вон наши пластунские управителя не живут, а жмутся. Тогда и жалованьишка малюстенные были, а ничего, жили. Н. у, Михряшев свой человек был и приметил меня, потому как был я парень чистяк: кровь с молоком. Как-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшев и выпросил меня у Ивана Антоныча, чтобы в лавку посадить. Совсем дело на мазе было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и кончено, потому Михряшев хоша и из наших старообрядцев, а совсем обмиршился и все компанится с бритоусами и табашниками.

— Да ведь и Иван-то Антоныч миршил тоже?

— Вот поди ты... «Ты, говорит родитель, у приказчика служишь в казачках не по своей воле, — потому крепостной человек, — и греха на тебе нет, а как перейдешь к Михряшеву — и грех примешь на душу, — потому своя воля...»

— А ведь оно, пожалуй, и тово, верно сказано-то...

— Уж на что вернее!.. Покойный родитель постоянный был человек и как слово сказал, как ножом обрезал. Он в те поры в заключении находился...

— А все-таки жаль: из-под носу ушло богачество-то, — жалел Секрет, мотая своей беспутной головой. — Все михряшевские приказчики вон как ноне живут: все до единого в купцы вышли, и ты бы вылез, кабы не родитель.

— Беспременно бы вылез, потому Михряшев напоследки сильно ослабел, а приказчикам это и на руку: все растащили... Даже жаль было со стороны глядеть: Михряшев гуляет, а приказчики волокут из лавок товар сколь мога.

— Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положил бы, Евстрат Семеныч; пожалуй, еще больше бы других волок...

— Уволок бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался... Прямо сказать, — настоящим бы купцом сделался.

— Ишь ведь... а-ах, жаль, право, жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, так я бы не одну лавку уволок у Михряшева-то... — соболезнавал Секрет, ерзя по траве.

— Барин-то спит? — шепотом осведомился Важенин про меня, протягивая руку к бутылке.

— Спит... Так, совсем пустой человек: набегается по болоту, ну, и сейчас спать, — рекомендовал меня коварный Секрет.

Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Важенин был совсем пьян и начинал дремать, но Секрету еще хотелось «дрызнуть», и он, как «практикованный» человек, «из-под политики» старался поддержать разговор:

— А где Харитина-то, Евстрат Семеныч?

— Померла нонешним годом...

— Вместе, значит, с Михряшевым?

— На одном месяцу.

— Добрая была душенька, дай ей, господи, царствие небесное! — вздохнул Секрет и даже перекрестился. — Заступалась она за нашего брата, когда Иван

Антоныч зачинал лютовать. До смерти бы меня закатал, ежели бы не Харитина... И то замертво в лазарет унесли... Ох, лют был драть покойник!.. Я тогда у кричных молотов ходил, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грех в кричную. Поглядел, поглядел на мою полосу, а она с жабриной, ну, известный разговор: «Ты, миленький, зайди ко мне, как обед ударят...» Троиختо нас позвал. Пришли. Он на крыльчке этак летним делом сидит, в одном халате, и посмеивается: «Ну, миленькие, обижаюте вы меня...» Тут же перед крыльцом меня первого и разложили, два здоровенных конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли — из кожи из своей рад вылезти, а Иван Антоныч посмеивается да приговаривает: «Не я тебя, миленький, наказываю, а сам себя бьешь... Попомни, ангел мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченьких да харроших... Ну, ангелы мои, постарайтесь!..» Ну, слышу я, что уж из ума меня вышибает, и базлать перестал, а только молитву сотворил про себя, а Иван Антоныч все приговаривает да посмеивается — чистая смерть приходила... Спасибо, тогда Харитина на крыльцо вышла и отняла меня, а то запорол бы насмерть. На рогожке без памяти тогда меня в лазарет сволокли, три недели вылежал... Ведь он тогда в скором времени до смерти запорол Никешку Зобнина, так под розгами и душу отдал.

— Ничего ему не было за Никешку?

— Ничего... все дело замяли, потому какой на Ивана Антоныча в те поры суд — темнота одна была.

—: Сказывают, Харитина-то в большой бедности проживала напоследях... И куда, подумаешь, все девалось: у Ивана-то Антоныча вона сколько добра было накоплено — невпроворот!

— Что уж говорить... Только детей после Ивана Антоныча не осталось, умер он наскоре, духовной не оставил, ну, Харитину племяннички и пустили в чем мать родила. Ейбогу... Вместе с Михряшевым бедовала в городе: и тот без гроша и она тоже Жаль глядеть было... Да что еще было: у Михряшева-то кой за кем были долгишки в Пластунском, вот он как-то по зиме и соберись — с обратными ямщиками к нам на Пластунский и прикатил. Шубенка-то на нем плохонькая, сам седой весь, отошал... И что бы думал, братец мой, походилпоходил по зазоду — ни одна шельма ну гроша не отдала, а над ним же, над стариком, потешаются, потому как есть совсем бессильный человек. А те ироды-то, приказчики-то его, даже чаю напиток не позвали старика... Ну, увидал я его и позвал к себе, так он даже заплакал. Ей-богу... «Вот, говорит, Евстратушка, наша судьба чело-веческая: весь тут, и стар, и хладен, и гладен!» Переночевал у меня, покалякали... «А я, говорит, на них-то, на иродов-то, не прихожу — в ослеплении, говорит, поступают, а одного жаль, что вот ты тогда ко мне в приказчики не угодил — может, тебе бы тоже польза была, по крайности в люди вышел бы». Ну, и Харитина страсть как бедовала в городе... на господ платье стирала и этим кормилась. Привезешь ей ситчику на платьишко или чаю — уж как рада была... Худая стала, да все кашляла, — так на работе и изошла вся.

Важенин вздохнул и налил стаканчик; Секрет заметно нагружался и начинал коснеть языком, но он пил до последнего издыхания.

— Хочу я тебя, Евстрат Семеныч, давно спросить... — говорил Секрет после выпивки, — то есть насчет этой самой Харитины... разное болтают... хе-хе!..

— Ну, чего болтают? — грубо спросил Важенин, приподнимаясь на локоть.

— Да насчет тебя, что будто имела она большое прилежание к тебе... хе-хе!.. Ей-богу, вот сейчас провалиться...

— Дурак!! Я вот тебе такое прилежание покажу.

— Да ведь я так, Евстрат Семеныч... не сердчайте... с простоты.

— То-то, с просроты... Знаем мы твою простоту, черт!..

Пауза. Важенин тяжело ворочается; вопрос Секрета, очевидно, задел его за живое, но он крепится. Опять стаканчик и глухое кряканье.

— Дурак!., черт!.. Разве ты можешь это понимать, образина? — ругается Важенин, сжимая кулаки. — Я тебе такую проволочку пропишу. «Прилежание»?! Подлецы вы, вот что...

— Да ведь я...

— Поговори еще... ну, поговори?.. А ты знаешь, на скольком году Харитина вышла замуж-то?.. То-то вот и есть... «Прилежание»! Дьявола... Ивану-то Антонычу было под шестьдесят, когда он Харитину взял, а ей шестнадцатый годок шел... Из бедных была, ну, старик на ее красоту польстился. На моих глазах все было... Иван-то Антоныч на фабрику уйдет, а она ребячьим делом в куклы играть али ребятишек назовет да с ними давай кувыркатся... Право, черти!.. «Прилежание»... Какой у ней разум в те поры еще был: так, девчонка-девчонкой... А Иван Антоныч не разбирает — свое взыскивает, — потому муж. Сильно они вздорили по ночам, потому у ней еще ребячье на уме, а ему подай свое...

— Бил он ее, сказывают?..

— Бивал... Как-то раз приходит из фабрики, а Харитина заигралась в куклы, да пирогом с осетриной и опоздала — не дошел маненько пирожок-то. А Иван Антоныч уж за столом сидит и свою рюмочку предобеденную налил, ну, она со страхов-то недопеченный пирог и велела подавать... Тронул его Иван Антоныч да сейчас же Харитину за косы и давай обихаживать по всей горнице, — та ревет не своим голосом, а ой приговаривает таково ласково: «Вот тебе, Харитинушка, пирожок с осетриной!.. Вот тебе, ангел мой, еще пирожок с осетринкой... Вот тебе, душенька, и еще... не я тебя, голубчик, наказываю, а сама себя бьешь!» Уж он ее таскал-таскал, колышматил-колышматил, пока не натешился, ну, пирог-то в это время и допекся, а Иван Антоныч обедать... Не красно ей жилось, уж что говорить. Плачет, бывало, как одна останется, рекой льется. Ну, сначала меня стеснялась будто, а потом примне плакала... Убираешь, бывало, со стола или там что, а она сядет в уголок и примется причитать, — тоску такую наведет, хоть самому плакать, так в ту же пору. Конечно, дело наше маленькое: видишь — не видишь, слышишь — не слышишь... А потом уж стал я примечать, что будто Харитина стала на меня поглядывать, а как встретится глазами, вся всполыхнет. Ну, стала как будто избегать меня и придираться: и то не ладно, и это не ладно, и пошел не так... Мое дело тоже молодое, так и заохолдит на сердце, когда мимо идет, а ты стоишь в передней дурак-дураком, как статуя. А надо тебе сказать, что покойный родитель, чтобы я не избаловался, взял да женил меня... Жена-то дома сидит, а Харитина на глазах постоянно, да и куда же жене до нее, потому барыня, одета всегда форменно и обращение свободное и всякое прочее. Глядели-глядели мы так-то друг на дружку, а тут Иван Антоныч куда-то уехал, оставил жену одну, ну, а Харитина меня тогда и заполучила по всей форме: и милый, и ненаглядный, и красавец, и сухой, не пареный... Известно, женская слабость.

— Уж что говорить... обнакновенно... уж тут музыка... А поди, страшно